

«Советский проект» в западной историографии¹

В статье рассматривается место «советского проекта» как совокупности большевистских планов и программ, определивших облик советского строя и его образ действия, в западном историографическом дискурсе. Раскрываются причины, по которым эта тема пользовалась недостаточным вниманием со стороны большинства представителей основных научных школ, изучавших историю Русской революции и раннесоветского общества. Характеризуются взгляды на «советский проект» Р. Стайтса и П. Бейлхарца. Обосновывается необходимость анализа «советского проекта» в рамках «проектного подхода» к исследованию раннесоветского общества.

Ключевые слова: «советский проект», Русская революция, раннесоветское общество, западная историография.

Год столетия революции достаточно удобен для подведения промежуточных итогов ее изучения в том числе потому, что историки взяли паузу, и в этой отрасли наблюдается определенный застой. Его причина – отсутствие внятного идеологического дискурса по поводу большевистской революции как в России, так и за ее пределами; а само это событие, которое прежде оценивалось как главное в истории XX века, оказалось вытеснено на периферию общественного интереса новыми вызовами эпохи. Непременные публикации, которые сопровождают всякую годовщину, не претендуют на особую новизну и скорее призваны зафиксировать сложившееся положение дел [Fitzpatrick, What's Left?].

В настоящее время отношение к большевистской революции перестало быть фактором, формирующим политическое сознание. Очевидно, что авторы большинства исследований в огромном потоке литературы по истории

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»).

русской революции, изданной за пределами СССР–России во второй половине XX столетия, вдохновлялись текущими политическими событиями – реалиями «холодной войны», «перестройкой», либо обстоятельствами распада СССР. В сегодняшних работах полемическая острота и эмоциональный напор, привычные для исторических сочинений на тему революции, уступают место холодному академическому анализу.

Среди многочисленных вопросов, которые ставила перед исследователями история революции, сохраняет актуальность проблема сути «советского проекта»: в какой степени в нем сочетаются объективная предопределенность и свободная воля исполнителей? Был ли он следствием воли к власти большевистских вождей, либо был выражением концентрированной «воли народа»? Если эта была «модернизация с вывихом» [Левин, с. 485], то где заканчивается норма и каковы масштабы этого «вывиха»? Наконец, как соотносятся между собой «советский проект» и сталинизм: был ли последний естественным продолжением «проекта», либо отрицал его?

Понятие «советский проект» нередко используется в расширительном смысле вплоть до того, что им обозначают всю советскую историю. Если подходить более строго, то под это определение подпадают большевистские планы и программы, которые определили облик советского строя и его *modus operandi*, и которые хронологически укладываются в период от подготовки вооруженного восстания до начала 1930-х годов. Именно в этом значении предполагается говорить о «советском проекте» в рамках настоящей статьи.

Кому интересен «советский проект»?

Историографическая динамика изучения истории русской революции в западной историографии второй половины XX – начала XXI вв. определяется, во-первых, логикой политической, а во-вторых, собственно исследовательской. Первая из них реализуется преимущественно в рамках взаимоотношений либеральной и ревизионистской парадигм изучения советской истории и утрачивает полемическую остроту с распадом СССР; вторая зависит от

методологического фона, а также объема и качества доступных источников. Условия работы с источниками на каждом конкретном этапе предопределили сначала доминирование теоретических работ с сильным публицистическим уклоном в годы «холодной войны», а затем появление большого количества исследований с привлечением архивных документов после открытия советских архивов в начале 1990-х годов. Пришествие «новой культурной истории» в 1990-е годы, в свою очередь, сделало возможной ситуацию, когда некоторые историки «предпочитали читать Мишеля Фуко, нежели архивы» [Шевырин, с. 73].

Смена главенствующих историографических парадигм сопровождалась изменением тематических приоритетов. Если «либералы» делали акцент на изучении советского политического строя и вопросов внешней политики, то ревизионисты, среди которых преобладали марксисты, отдавали предпочтение социальной истории, преимущественно истории рабочего класса. В рамках «новой культурной истории» рабочие «были вытеснены со сцены женщинами и представителями национальных окраин» [Fitzpatrick, *What's Left?*]; исследователей стали интересовать изменения ментальности, идентичности, материальной культуры. Обратной стороной разнообразия тем стала угроза мозаичной фрагментарности [Шевырин, с. 56, 72].

В рамках «классического» либерального подхода, сформировавшегося в западной философии в 1950-е гг. (Ханна Арендт, Карл Фридрих и др.) сильные и слабые стороны советского строя интерпретировались исключительно в контексте коммунистической идеи. С этой точки зрения позиция «либералов» Ричарда Пайпса и Збигнева Бжезинского выглядит отчасти ревизионистской, поскольку они утверждали, что в революции, помимо собственно коммунистической, проявилась логика предшествующего исторического пути России. Впрочем, в негативном отношении к «советскому проекту» «либералы» едины: они были убеждены, что действиями большевиков руководила воля к власти, Сталин стал естественным продолжением Ленина, а большевистские вожди успешно манипулировали коммунистическими ло-

зунгами в своих интересах (вариант: опирались на психологические установки и социальные стереотипы российского коллективного сознания). По мнению Пайпса, «коммунистическая Россия с момента своего появления была диковинным отображением сознания и воли одного человека: его биография и история слились и растворились друг в друге» [Пайпс, 1994, с. 7–8]. «Чужеземное растение [марксизма] было пересажено в далекую евразийскую империю с традициями полувосточного деспотизма, – утверждает его единомышленник Збигнев Бжезинский... Это Ленин создал систему, которая создала Сталина, и это Сталин потом создал систему, сделавшую возможным сталинские преступления» [Brzezinski, p. 21]. Это означало, что за пределами властной (внутри- и внешнеполитической) парадигмы идеологическое содержание советского проекта для представителей либеральной школы не представляло особого интереса.

Характерно, что антикоммунистический пафос в духе либеральной историографии был воспринят советскими историками-диссидентами, поскольку именно советский режим был главным объектом их критики. Теоретические основания «советского проекта» воспринимались иронически, что нашло отражение, например, в названии известной книги М. Геллера и А. Некрича «Утопия у власти» [Геллер, Некрич]. По мысли авторов, утопические взгляды самого Ленина, изложенные им в работах «Государство и революция» и «Очередные задачи Советской власти», поочередно разрушались в результате соприкосновения с действительностью.

Переключение Ричарда Пайпса с коммунистического популизма на досоветское прошлое для обоснования стабильности советской власти сделало его позицию более убедительной в сравнении с предшественниками – либеральными теоретиками 1950-х годов. «Их (т.е. большевиков – *О. Г.*) представление о том, каким должно быть правительство, было зеркальным отражением царского режима» [Пайпс, 1993, с. 414]. Более того, историографическое «преодоление» 1917 г. стало связующим звеном между либеральным и ревизионистским направлениями (к примеру, о необходимости разрушения

барьера 1917 года писал Ричард Стайтс) [Stites, 1989, p. 9]. Современная ситуация в России только укрепляет исследователей в стремлении искать корни революционных изменений в досоветском прошлом. Так, в предисловии к юбилейному переизданию своего фундаментального труда «Народная трагедия» Орландо Файджес пишет о невозможности преодоления Россией своего авторитарного прошлого, что стало причиной ее низвержения в насилие и диктатуру в 1917 г., равно как и итогового отказа от демократических реформ после распада СССР в 1991 году [Figes, 2017, p. XII].

Отношение к досоветскому прошлому и возможности его преодоления в западной историографии менялось в том числе под влиянием текущей политической ситуации. Распад СССР и ожидания «конца истории» сделали востребованной теорию модернизации, которая в ревизионистском дискурсе практически вытеснила марксистскую парадигму в духе Леопольда Хеймсона и Александра Рабиновича. Соответственно, дальнейшее развитие России безальтернативно воспринималось в контексте западного пути. Революция 1917 г. интерпретировалась как шаг в направлении модерна, а последующий сталинский режим – как отступление от него. Довольно выразительно эта мысль выражена у Терри Мартина: «Модернизация – это теория советских намерений, неотрадиционализм – это теория их незапланированных следствий» (Martin, p. 176). По этой логике, «советский проект» был модернистским, а просчеты и ошибки большевиков, в том числе пришествие сталинизма – антимодернистскими. «Родимые пятна» досоветского российского прошлого, а также вековую отсталость России предполагалось преодолеть с помощью модернизационных изменений.

Ахиллесовой пятой подобного подхода была затруднительность определения сталинского этапа: идея «отступления от модерна» в 1930-е гг. плохо увязывалась с форсированным промышленным развитием. Например, Стивен Смит, хотя и ограничивает хронологические рамки Русской революции 1928 годом, признает, что сталинский «большой скачок» 1928–1931 гг. «вполне заслужил название “революция”, поскольку он изменил экономику, социаль-

ные отношения и культурные образцы поведения в большей степени, чем это сделала Октябрьская революция» [Fitzpatrick, What's Left?].

В попытке разрешить это противоречие широкое распространение получила идея «национального пути» модернизации при том, что прежний западный вектор движения развивающихся обществ не оспаривался. Под влиянием политических изменений в России и ряде других стран эта точка зрения изменилась, и западный путь развития более не видится безальтернативным. Так, Майкл Дэвид-Фокс, позиционируя советский порядок «между исключительностью и общей модерностью» (т.е. между цивилизационным и модернизационным подходами), предполагает, что «модерность вполне может быть нелиберальной и незападной [Борисова; David-Fox, p. 37]. Причина нежелания расстаться с модернизационным подходом при характеристике советского прошлого, несмотря на переживаемый этим направлением очевидный кризис, кроется в нежелании автора поддерживать позицию «традиционалистов», т.е. сторонников «особого» российского пути.

Сторонников идеи модернизации «советский проект», понимаемый как совокупность исходящих от власти идей и намерений, интересовал преимущественно с точки зрения его рецепции различными социальными группами. При этом исследователи чаще всего исходили из представлений о существовании некоего устойчивого во времени «коллективистского сознания», лишённого индивидуального измерения, что убедительно показала Анна Крылова на примере Стивена Коткина [Крылова]. Отсутствие ощущения подвижности советского коллективного сознания, нежелание видеть в нём эволюционные изменения, предопределило как живучесть идеи «тоталитарного общества», так и культивирование персонифицированных «хрущевских» и «горбачевских» схем при объяснении истоков советских реформ. Отсюда же и отсутствие должного внимания к раннесоветскому периоду, по-прежнему пребывающему в тени сталинизма.

Следует признать, что тема «советского проекта» в разных его аспектах занимает представителей «новой культурной истории», среди которых Уэнди

Голдман, Стивен Коткин, Терри Мартин, Орландо Файджес [Goldman; Kotkin; Мартин; Figes] и другие авторы. Чаще всего обращение к этой проблематике находится в тени основного предмета исследования. Оценки исследователей предсказуемо варьируются. Например, Юрий Слезкин склонен считать советскую идею утопическим миллениаристским проектом, с чем не согласна Шейла Фитцпатрик [Fitzpatrick, Good Communist Homes].

Таким образом, представители магистральных направлений западной историографии по разным причинам не считали для себя важным подробно анализировать «советский проект». Либеральная школа, исходящая из презумпции вины большевизма перед мировой историей, видела в большевистских программах скорее тактику, нежели стратегию; в рамках ревизионистского направления изучалась логика социальных изменений, а также то, как советское общество соотносилось с западным. В «новой культурной истории» эта проблематика имеет шанс реализоваться в рамках интереса к изучению власти и политической истории. По мнению Стивена Смита, оно относится к числу перспективных, но еще нереализованных [Smith, p. 261–282].

Более других «советским проектом» интересовались близкие к марксизму ревизионисты (их интерес базировался на представлениях о важности советского опыта, правда, преимущественно в практическом, а не теоретическом ключе), а также исследователи раннесоветских утопий и массового сознания эпохи (Beilharz; Möbius; Steinberg; Stites, 1984; Stites, 1989).

«Революционные мечты» Ричарда Стайтса

С точки зрения реальных результатов интерпретации «советского проекта» представляют интерес работы Ричарда Стайтса, посвященные российскому утопическому сознанию революционной эпохи [Stites, 1984; Stites, 1989]. Подобно многим другим авторам, Стайтс оперирует понятием «утопия», но, в отличие от них, относится к этому явлению с изрядной долей симпатии. Стайтс констатирует, что носителям утопического сознания не повезло в историографии: «Поколение революционных мечтателей оказалось

на полях истории» [Stites, 1989, p. 251]. Между тем, утописты были озабочены не только ростом экономической и военной мощи, они хотели сделать жизнь лучше во всех ее проявлениях [Там же]. Ценность утопии для сегодняшнего дня состоит в том, что она «дает человеку надежду сохранить разум в безумном мире» [Stites, 1989, p. 10].

Анализируя корни возникновения утопий, Стайтс полагает, что «утопия опирается на литературу, политическую мысль, религиозные представления и практику, революционный идеализм, мистические видения, легенды и народную мудрость (иногда эти вещи выступают одновременно)» [Stites, 1984, p. 141].

Стайтсу было важно показать, что утопизм был не только марксистским (который якобы искажен Лениным, Сталиным или обоими). В утопиях, по мнению автора, проявляется вся история России: интеллектуальная, культурная и социальная. Апеллируя к прошлому России, Стайтс утверждает, что носителями утопической традиции в русской истории были народ, власть и радикальная интеллигенция [Stites, 1989, p. 5].

Стайтс отказывается считать утопизм чисто русским явлением, полагая, что он присутствовал во всех революциях новейшего времени. Особенностью же русского утопизма было то, что он сформировался на фоне технологической революции, а потому выразился в виде безудержной футуристической фантазии [Там же].

Множественность утопий в революционный период автор объясняет тем, что «дремлющая вражда между государством, народом и интеллигенцией, между классами, регионами и народностями, а также между городом и деревней, породила экстравагантные мечты и способы разрешения страхов, порожденных войной, революцией, голодом и разрухой» [Stites, 1989, p. 6]. Относительно взаимоотношений утопизма с марксизмом Стайтс полагает, что иногда эти утопии соответствовали марксизму, а иногда ему противостояли. Сами же большевики относились к утопизму в первое советское десятилетие довольно осторожно. По мнению автора, следует различать ментальную мо-

дель утопии и попытки ее реализации, утопические эксперименты [Stites, 1989, p. 7].

В своей более ранней работе Стайтс разделил все революционные утопии по степени отношения к реальности по признаку времени, пространства и жизни. При этом утопии времени считались нереализуемыми в ближайшем будущем, утопии пространства представляли собой планы неизбежного преобразования окружающей среды, а утопии жизни были практическими экспериментами, реализуемыми в контексте революции (Stites, 1984, p. 141). Ленин, утверждает Стайтс, работал на всех утопических уровнях: времени («Государство и революция»), пространства (план электрификации) и жизни («военный коммунизм» в его многочисленных практических проявлениях) [Там же, p. 142]. По мнению исследователя, попытки реализации утопий осуществлялись в двух формах: независимые эксперименты и санкционированное государством конструирование образцов идеального будущего в настоящем.

Что касается Сталина, то он, по мнению Стайтса, присвоил утопические конструкции для идеологического обеспечения бюрократического государства [Stites, 1989, p. 9]. Сталин неосознанно воспринял язык и принципы русской административной утопии, представляющие собой комбинацию милитаризованного стиля управления и мелочной регламентации с нуждами обороны, экономической активностью и представлениями о мнимом благополучии. За этим фасадом скрывалось множество неблагоприятных вещей [Там же, p. 242].

Сталинизм, считает Стайтс, тоже был утопией, но он отличался от революционного утопизма. Сталин не понимал и не уважал попыток создания новых утопических теорий, именно отсюда его фраза, что «социализм превратился из мечты о светлом будущем в науку» (1938). В конце концов ритуал вытеснил мысль [Там же, p. 11].

Таким образом, полагает исследователь, идеология русской революции (или «советский проект») был смесью марксизма и российских революцион-

ных ценностей и представлений, которые выражались в мифах, мечтах, моделях поведения, символах и жестах [Там же, р. 242]. Автору удалось показать полифоничность революционных идей и их практическую значимость. Ценность исследований Ричарда Стайтса – во взгляде на социализм не только как на проект власти, но и как на «живое творчество масс», т. е. теорию, соотносящуюся с представлениями различных социальных групп.

«Трудовые утопии» Питера Бейлхарца

В отличие от Стайтса, Питер Бейлхарц, автор другого труда, где рассматривается большевистский проект, в первую очередь заинтересован в анализе именно утопий власти, а также того, по каким причинам они сменяли друг друга [Beilharz]. Анализируя сильные и слабые стороны различных социалистических идей (большевизма, фабианства и социал-демократизма), Бейлхарц стремится показать, что потенциал социализма, особенно его социал-демократической разновидности, еще не исчерпан. Считая социализм утопией, Бейлхарц пытается разобраться, являются ли революционный и реформистский пути ее разными проявлениями, либо они предлагают различные модели будущего [Beilharz, р. 10–11]. Полемизируя со сторонниками модернизационного подхода, Бейлхарц утверждает, что большевизм представляет собой попытку преодолеть модернизм, и особенно капитализм, в то время как социал-демократия базируется на индустриальном фундаменте модерности и пытается использовать ее возможности [Там же, р. 11]. В этом контексте модернистский проект Сталина выглядит не вполне большевистским.

Бейлхарц считает, что каждое из рассматриваемых социалистических течений опирается на сильные национальные традиции, предопределившие их судьбу, соответственно на русские, британские и немецкие. В отличие от Карла Поппера, полагавшего, что после 1917 г. большевики были вынуждены постепенно отказываться от марксистской утопии и заменять ее «поэлементным планированием», Бейлхарц утверждает, что большевизм интеллектуально господствовал в социалистическом движении вплоть до распада СССР

[Там же]. Что касается самого Маркса, то он характеризуется как не единственный теоретик социализма, хотя и наиболее серьезный.

Впрочем, здесь есть опасность подмены понятий. Если тот же Стайтс идет от утопии к реальности, т.е. к революционной практике, то Бейлхарц считает, что революционные взгляды переходят в разряд утопических в результате провала большевистских экспериментов: «когда большевизм оказался не в состоянии удовлетворить желудки и сердца, он утвердился в головах» [Там же, р. 17].

В Советском Союзе, пишет Бейлхарц, конкурировали разные утопии – от Родченко и Татлина и идей равенства полов до наследия Февральской революции. Время заставило замолчать большинство из них. Основная большевистская идея в случае Ленина мигрировала от синдикализма в «Государстве и революции» к популизму в практике нэпа, и в итоге – к дистопии в виде сталинского тоталитаризма с его индустриализацией и коллективизацией. Взгляды Ленина и Троцкого следует считать главенствующими в определении большевистской утопии [Там же, р. 18]. Утопичность Ленина Бейлхарц видит в объединении всех неэксплуататорских классов в работе «Что делать» и в наличии только пролетариев, но не граждан в «Государстве и революции». Ленинская «утопия партии» – это допущение существования небольшой группы героев, возглавляющих борьбу с царизмом. Последняя утопия Ленина – мультиклассовая, выраженная в идее «смычки» в работе «О кооперации» [Там же, р. 21]. Троцкий был выразителем утопии сверхиндустриализации и дистопии милитаризованного труда [Там же, р. 28]. Культурологические построения Богданова и Луначарского, других носителей утопического сознания, были отвергнуты практическими политиками [Там же, р. 18]. Взгляды раннего Бухарина (утопия «военного коммунизма»), а также идея Преображенского о выкачивании средств из деревни для развития города стали своеобразным мостиком для «сталинской» дистопии, несмотря на позднейшую компромиссную бухаринскую утопию нэпа [Там же, р. 45].

У Бейлхарца есть неожиданное сближение с либеральной школой. Он утверждает, что главный вопрос, который ставит большевизм – как завоевать власть (фабианцы спрашивают «как более эффективно организовать общество?», а социал-демократы – «что я есть?» и «что мне следует делать?») [Там же, р. 121]. Обосновывая свой финальный выбор, Бейлхарц утверждает, что социал-демократизм – наиболее этически целостное мировоззрение, в то время как большевизм отрицает этику [Там же, р. 123].

Заключение. Зачем изучать «советский проект»?

Поскольку выясняется, что, несмотря на наличие нескольких серьезных работ, «советский проект» находится на периферии исследовательского интереса, возникает вопрос о принципиальной целесообразности его изучения. Полагаю, что «советский проект», как и всякая другая программа социальных преобразований, заставляет задуматься о том, *как и почему хорошие идеи нередко превращаются в свою противоположность*. Эта проблема не является новой, и в историософии XX века более других ей уделял внимание Карл Поппер [о Поппере и других теоретиках конструирования социальной реальности см.: Горбачев].

При всей убедительности попперовского противопоставления «негодного» историцистского и утопического «советского проекта» успешному поэлементному инжинирингу остаются вопросы, связанные с происхождением и содержанием большевистских идей. Согласно Попперу, провал попытки построить коммунизм «по Марксу» в первые послереволюционные годы заставил большевиков перейти к «поэлементному планированию», т.е. к реальному, а не утопическому социальному проектированию [Поппер, с. 99]. Однако, многие носители преобразовательных идей в 1920-е гг. были по-прежнему далеки от узко-прагматических соображений. Почему некоторые из этих идей были приняты, а другие отброшены? Кто, помимо представителей власти, был в состоянии повлиять на программу преобразовательной деятельности?

В условиях дефицита «скрепляющих» теорий для интерпретации истории Русской революции [Добренко; Шевырин; Fitzpatrick, What's Left?] «проектный подход», нацеленный на понимание соотношения мыслей и устремлений людей с результатами их практической деятельности, может сыграть роль значимого элемента для построения здания интегрирующей теории.

Борисова Т. Рец. на: Michael David-Fox. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union // Laboratorium. 2016. № 8. С. 150–153 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/635/1673> (дата обращения 01.09.2017).

Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М., 2000.

Горбачев О. В. Теории конструирования социальной реальности в XX в. и советский проект // 1917 год в России: социалистическая идея, революционная мифология и практика. Екатеринбург, 2016. С. 29–49.

Добренко Е. Англо-американская историография сталинизма: ощупывающая слона (Рец. на кн.: David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, 2015) // Новое литературное обозрение. 2017. № 2. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/8417> (дата обращения: 02.09.2017).

Крылова А. «Советская современность»: Стивен Коткин и парадоксы американской историографии // Неприкосновенный запас. 2016. № 4. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/7612> (дата обращения 01.09.2017).

Левин М. Советский век. М., 2008.

Мартин Т. Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.

Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.

Пайпс Р. Русская революция. Т. 1. М., 1994.

Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 2. М., 1992.

Шевырин В. М. Революции 1917 г.: переосмысление в зарубежной историографии // Россия и современный мир. 2007. №1. С. 53–77.

Beilharz P. Labour's Utopias. Bolshevism, Fabianism, Social Democracy. London ; New York, 1992.

Brzezinski Z. The Grand Failure: the Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. N.Y., 1989.

David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, PA, 2015.

Figes O. A People's Tragedy: The Russian Revolution 1891–1924. London , 2017.

Fitzpatrick S. Good Communist Homes. The House of Government: A Saga of the Russian Revolution by Yuri Slezkine // London Review of Books. 2017. Vol. 39. No. 15. P. 3-7 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lrb.co.uk/v39/n15/sheila-fitzpatrick/good-communist-homes> (дата обращения: 01.09.2017).

Fitzpatrick S. What's Left? // London Review of Books. 2017. Vol. 39. No. 7. P. 13–15 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lrb.co.uk/v39/n07/sheila-fitzpatrick/whats-left> (дата обращения: 01.09.2017).

Goldman W. Z. Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936. New York, 1993.

Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as Civilization. Berkley, Los Angeles, London, 1995.

Martin T. Modernization of Neo-Traditionalism? Ascribed Nationality and Soviet Primordialism // David L. Hoffmann and Yanni Kotsonis (Eds.). Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. New York, P. 161–182.

Möbius T. Russische Sozialutopien von Peter I bis Stalin. Münster, 2015.

Smith S. Writing the history of the Russian revolution after the fall of communism // The Russian revolution: The Essential readings. London; Toronto, 2001. P. 259–282.

Steinberg M. D. Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca, N.Y., 2002.

Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. New York – Oxford, 1989.

Stites R. Utopias of Time, Space, and Life in the Russian Revolution // Rev. Étud. slaves. Paris, 1984. LVI/1. P. 141–154.